

Весь Н. Успенский

Колдунья

Была осень. Близ засеки, в полуверсте от села, стояла новая непокрытая изба, вокруг которой в беспорядке лежали срубленные деревья.

В избе, на кровати с ситцевым одеялом, сидела молодая больная мещанка, прислушиваясь к ветру, потрясавшему рамы и стекла.

В избу вошла низенького роста пожилая баба с мешком муки за плечами.

— Здравствуй, матушка; аи больна чем? — сказала баба, перекрестившись на образа и вскинув черными глазами на хозяйку.

— Больна, Марья: лихорадка бьет.

Хозяйка обнаружила беспокойство и начала ощупывать подле себя шубу.

— А где же муж-то?

— В засеку поехал; он скоро приедет.

— А я вам принесла два пуда муки, помнишь, я брала у вас хлебом, — сказала баба, садясь на скамейку и с каким-то робким недоверием поглядывая на хозяйку. — Аи у вас до сих пор нет работницы? Ноне они дороги стали... А я хотела попросить деньжонок у Амеляна Трофимыча — за

иструб¹; ведь мы вчетвером его срубили; и моя доля тут.

Наступило молчание. Больная оделась в шубу, подошла к двери и проговорила:

— Что это он не едет? пора бы ему...

— Ничего, я подожду, матушка, — ответила Марья и пристально, но ласково посмотрела на хозяйку. — Анна Тихоновна! — вдруг сказала баба, — может быть, ты меня боишься?

— Нет, Марьюшка, — ответила больная, в замешательстве отворяя и опять затворяя дверь.

— Что я за оглашенная? — сказала баба, — ведь я вижу, что ты меня боишься! Я знаю... тебе небойсь сказали, что я колдунья.

Больная, по-видимому, сконфузилась.

— Я, Марья, этому не верю... мало ли что народ говорит?

Баба стала перед образами и воскликнула:

— Анна Тихоновна! вот тебе святые иконы! Убей меня господь, ежели это правда... Сошли мне господь истаять, как свечка тает!.. Царь небесный, батюшка, видит, сколько я перенесла от людей.

У бабы навернулись слезы; она снова села на скамейку и, сделав жест рукой, продолжала:

— Ну, постой, я тебе сейчас расскажу, за что

¹ *Иструб* — срубленная вчерне изба без крыши или колодезный сруб (обл.).

меня прозвали колдуньей... Говорить аль нет?.. Может быть, я тебя беспокою?..

— Нет, Марья; известно, я здесь живу недавно и ничего не знаю; а от баб ваших я слышала...

— Ну, вот что же! — опять ставши перед образами, начала Марья.

— Создай мне, господи, чтобы мои руки-ноги отнялись, тресни...

— Марья, Марья! не божись... я тебе верю... Я боюсь такой божбы!

— Ах, Анна Тихоновна! за что я терплю такую напраслину?..

Наконец, баба начала рассказ:

— Жила я у своего дяди. Девчонка я была проворная и ростом махонькая, хотя и года мне вышли; замуж меня никто не брал, потому что я была сирота и ничего не имела.

Одна, зимою, подле нас ходили нищие — старуха с сыном; сын был взрослый; и стужа такая стояла на дворе — лютая! а одеты они были в худеньких кафтанах, и, видно уж, чему быть — то, верно, богом назначено, мне их стало с чего-то и-и-и-их жалко! и дала я им по кусочку, а погреться позвать не посмела от дяди...

Вскоре приходит к нам одна баба и говорит: «А что вы не отдаете Марью за нищего малого Андрея, за побирашку-то? ведь ее замуж никто больше не возьмет; хоть она девчонка моторная, да

мала ростом — и сирота!»

Дядя мой и согласился выдать меня за того нищего малого. Так я и вышла за него.

Вошла я к ним в разваленный дом, и на дворе у них только и было: курица да кочет... Стали мы жить. Старуха тут померла; старик все сидел дома и ничего не делал, а мы с мужем все побирались; мой муж был такой хворый и какой-то, прости меня господи, ляд: что, бывало, ни наберет, все пропъет.

Года через два мы нанялись стеречь скотину; я начала думать, что на мужа надежда плоха, а надо мне самой копеечку собирать...

Года через три мы стали наниматься в работники, где за плату, а где из хлеба... И много, моя голубушка, зазнали нужды!.. Дворик наш все стоял разоренный... Однако я маленько сберегла деньжонок, и бросили мы найматься в работники, а стали жить дома.

Жили мы здесь в селе; место тут засечное, а в засеке в те поры было слабо. Начали мы с мужем по ночам возить лес; он, бывало, повозит да ляжет на печку — от живота... А я примусь одна возить... Лошадку когда люди дадут, а когда нет... три года я на себе дрова носила и воду возила... бывало, беременная работаешь!.. и не успеешь поправиться после родов, — а все в работе, потому все на мне лежало; к тому же обужа, одежда были плохие. Однава я поехала с мужем в засеку ночью — дуб

наваливать, да там и родила... так дуб и не привезли; после муж побил меня... Пьяный человек! Кое-как да кое-как поставили мы себе хатку. Осенью я набрала мер шесть орехов да продала за пять целковых и на эти деньги купила себе телочку, только она не пошла в руку, издохла... Я стала опять копить денежку; бывало, ежели захочешь покупать коровенку али жеребенка (я всегда сама заправляла этим), пойдешь к одному, другому — спросишь, — как бы не ошибиться... Один скажет то, другой — другое, и сличаешь... И выучилась я узнавать скотину.

Раз продают на слободе корову, и такая она на вид дохлая, — и всю-то ее можно в беремя унести, весу пуда три, а просят недорого. Я попытала ее и вижу, что коровка добрая; помолилась богу, что будет не будет, отдала деньги и привела к себе: вот-то от этой коровы у меня идет весь завод; у меня теперь, моя матушка, две телочки такие — по селу не скоро найдешь... (Рассказчица перекрестилась). Лошадку я тоже сама купила. Тоже начала я иструбчиками промышлять. Войдешь с кем-нибудь в часть, и поставим иструбчик, а после продадим.

Так вот я тебе хотела сказать, за что невзлюбил меня народ-то. А вот за что: бывало, что я себе ни куплю, овечку ли, поросенка ли, и все мне удастся, а оттого царь небесный посылал, что я

научилась узнавать в них толк.

— Отчего же у тебя телушки-то хороши? — спросила хозяйка, по-видимому увлеченная житейской картиной.

— Да, правду сказать, оттого, что я в них души не чаю; кормлю их, сама не евши... иногда, случается, завернет стыдь², так я их на ночь своим кафтаном и одену; а когда они были махонькие, я их месяца три одним молоком поила: вот отчего они такие.

— А сами-то, верно, не хлебали молоко?

— Нет! А отчего не хлебали? признаться, у нас о ту пору велась убоина; боровка зарезали... Так-то, матушка моя! А еще потому меня невзлюбил народ и прозвал колдуньей, что я по гостям никогда не хожу да что у меня черные глаза; а есть когда мне по гостям-то ходить!.. А уж сколько отведала я горя-то от людей!.. мне на свет божий нельзя показаться; а ведь разве мне хотелось на срамоте-то людской жить? Да и побоев немало приняла...

— Ну, вот что, Марья: я слышала, ты и в церковь не ходишь; отчего ты в церковь не ходишь?

— Анна Тихоновна, да нешто мне не хотелось бы с людьми во храм пойти? разве мне не хочется встретить праздник, как добрые люди?

² *Стыдь* — стужа.

— Отчего же ты этого не делаешь?

— А вот отчего, моя милая: некогда, недосуг мне! мне дыхнуть некогда! Ты спроси-ко: у меня ведь двое маленьких детей, а там старик; он тоже ничего не делает, только лежит на печке; а муж, я говорила, какой он... Намесь говорю ему: «Пойдем воды принесем», — так бросился колотить. На всех все я одна! Матушка моя! я вот тебе расскажу, что я делаю-то: встанешь поутру, подоишь корову, прогонишь ее в стадо, а там прогонишь телят на выгон, придешь домой — принесешь воды, почистишь картофель, истопишь печку, соберешь позавтракать мужу с свекором, а там муки нет — надо на мельницу; а тут веретья нет — пойдешь добывать; все село обходишь: у того нет, другой не дает; а там раз пятнадцать в день-то сбегает в одонья свиной согнать, а там скотина своя пришла; надо ей дать корму, а там муж зовет — сарай покрыть, там плетень повалился... А как придет рабочая-то пора! Веришь али нет? рубашонки, рубашонки своей некогда зашить... вот лаптей и то нету! отчего же я перед тобой ноги-то поджимаю? — лапти развалились, онучи сопрели!.. разве нужд-то мало? Поживешь, друг, увидишь... иное место ум расступается! Опять же я все сама во всякий след... Я смогу и лошадь запречь, я не впервой одна езжала в город хлеб продавать. Бабье ли это дело?.. а нужда научит всему!..

Баба замолкла. У двери с улицы раздался визг свиней.

— Вот они визжат! — продолжала Марья, — надо им чего-нибудь дать; так-то и всякое дело!

— А что, Марья, не потрудишься ли ты снести моим свиньям чугуна с помоями? Сама-то я почестей не выхожу из избы.

— С чего же? Под этой лавкой чугуна-то? Баба вынесла чугуна и вскоре воротилась.

— Ох, Анна Тихоновна, трудно, трудно жить на белом свете! Так-то вот с тобой я побеседовала, будто меду напилась...

— Вот что, Марья: скажи мне, как вот ежели выбирать корову: хороша она или нет? У нас еще нет коровы.

— А вот как: пуще всего смотреть надо хвост: ежели у ней самая кортень идет ниже колен, то это лучше не надо; у меня была корова, так та, бывало, хвост-то взбросит себе на спину: тяжел был... Еще надо искать по бокам колодези... а еще по зубам: чет али нечет... это тоже к молоку хорошо...

— Ну, а лошадей как узнают?

— А у лошадей смотрят лады, ноги; пуще всего надо толстые ноги, а шашки чтоб невысоки; тоже зад чтоб был широкий; а вот ежели нижние челюсти тонки и под шашками коготки, то это добрая и на езду скорая лошадь...

Марья помолчала и заключила:

— Вот за то-то и прозвали меня колдуньей.

Года через полтора Марья умерла. Мужики нашли необходимым в ее могилу загнать осиновый кол...

1863

Змей

В ветхой избенке, стоявшей на краю одного уездного города, в ненастный осенний вечер, при свете ночника, сидели за ужином два молодых парня. Они только что пришли с бочарной работы и, как видно, сильно проголодались, потому что ели с большим усердием, хотя ужин их состоял из одной тюри, которую готовила грязная баба, сидевшая в углу избы с поникшей головою. Один из работников был худ, бледен, однакож не угрюм, и имел на вид не больше восемнадцати лет; другой несколько постарше, с открытым, полным лицом и слегка смеющимися глазами. Они рассказывали друг другу, сколько выручили за день капитала, в какие заходили дома, какую сбивали посуду и проч.

Между тем под окном шумел проливной дождь, в трубе завывал и посвистывал ветер, на всю избу звенели дрожавшие стекла. Работники порою замолкали и прислушивались к дождю.

— Как хлещет! — говорил один из них.

— Да, малый, — задумчиво отвечал другой.

Затем снова начинались разговоры. А сидевшая в углу баба продолжала дремать, покачиваясь взад и вперед.

— Тетка Арина! — обращаясь к бабе, проговорил старший малый, — не знаешь, хозяин дома?

— Чего?

— Хозяин дома?

Баба зевнула, потянулась и пробормотала:

— Господи Иисусе Христе... не знаю...

Кажись, ушел куда-то. А-а-а... — опять зазевала она и почесала у себя правый висок, запустив пальцы под головную тряпицу.

— А что, тетка Арина, нет ли у тебя другого какого хлёбова³? тюрю-то, слышь, ели, ели, ажно вспотели.

— Какого там тебе хлёбова! Ишь что выдумал: дай ему хлёбова... Где я возьму?

— Ну, так нечего, верно, попусту сидеть. Ступай, собирай со стола.

Работники вышли из-за стола, помолились образам и поблагодарили за хлеб за соль бабу, которая, поправляя на своем затылке съехавшую повязку, медленно подошла к столу, позевала немножко и начала собирать посуду.

— Тетка Арина! ты бы нам когда-нибудь теста наварила, — сказал старший малый, стоя позади бабы и застегивая ворот своей рубашки.

— Чуден ты, Иван, право слово. Ты какой-то неразумный: теста, вишь, ему навари. Хозяйка я, что ли? Кабы я хозяйка была? их! я сама жру не лучше вашего: часом с квасом, порой с водой.

³ Хлёбово — жидкая, обычно невкусная пища, похлёбка.

Иван проворно повернулся и пошел к печи, чуть-чуть напевая, как бы про себя:

«Тетушка Арина, ты б нам тестица
сварила».

— Семен! пойдём на печь, — сказал он товарищу, — ноне я тебе расскажу сказку, волос дыбом станет; такая занятная, пропади она. Давеча, братец ты мой, иду по Воронежской улице и кричу: «Обручи набив-а-а-ать». А сам думаю: «Эх, забыл сказать Сеньке одну сказку; непременно, мол, вечером скажу».

— Ну, рассказывай, рассказывай, — проговорил Семен, почесывая обеими руками свой живот, — да смотри, хорошенько.

— Уж отзвоню такую лихорадку — любо! Полезай на печку.

— Погоди маленько, дай напиться, сейчас...

В углу избы зазвенел жестяной ковшик. Через минуту работники забрались на печку и приготавливались к рассказам.

Работница вытерла мочалкой стол, поправила ночник, перекрестила свой рот и отправилась к загнети.

— Ребята, тушить ночник-от? — сказала она разуваясь.

— Погоди, может хозяин призождет.

— Не замай же его, погорит. А-а-а-их-ну! Господи отец небесный... Христос милосливый...

— Ну вот, это мне рассказывал верный человек. У некого купца была дочка, самая что ни на есть красавица и любимая его. Звали Машенькой. Такая распрекрасная красота, что все купчики стадами бегали... Случились ее именины. Отец, пришедши от обедни, зачал ее поздравлять со днем ангела: «дескать, честь имею поздравить тебя, дочка милая». — «Благодарим покорно, папенька». Потом отец пошел в другую комнату и вдруг выносит на серебряном блюде кольцо золотое.

— Погоди, да я эту историю знаю, — прервал Семен.

— Как знаешь?

— Именинница получит кольцо и ненароком подавится им, так?

— От кого ты слышал?

— Не помню. А дальше там ее схоронят и за кольцом полезут к ней ночью воры, то есть в могилу. Вытащат из горла кольцо, она и воскреснет.

— Так, так. Ну, коли эту знаешь, надо другую говорить.

В это время в избу вошел с черной бородой, в длинной чуйке, хозяин. Он двумя пальцами сучил край своей бороды и глядел на печь, прислушиваясь к разговору работников. Но работники скоро замолчали.

— Что, ребята, вы не спите?

Иван бросился было слезать с печи.

— Лежи, лежи; я так пришел. Ну, как вы ноне день поработали, хорошо?

— Не совсем хорошо, Григорий Петрович. Я-то сорок копеек принес, а вон Семен тридцати не выработал.

— Да, плоховато. Выше бога не будешь.

— Прикажете теперь деньги отдавать?

— Нет, завтра отдашь, лежи себе. Я так, на минутку зашел. Плоховато, плоховато! А я ходил к Еремею Иванычу; жена у сердечного померла.

— Померла? — спросил Иван.

— Померла.

Не переставая сучить пальцами бороды, хозяин задумчиво пошел вон из избы; на пути ногою подсунул под лавку ведро с помоями и скрылся за дверью.

— Ребята! — вдруг спросонья забормотала баба, — кто это приходил? Ребята!

— Воры, тетка, воры!.. ха-ха-ха-ха.

— Провалиться вам, жеребцы стоялые, — с сердцем сказала баба и завернула голову в дырявый армяк, из-под которого слышалось: «Чего хохочут? Насмешники, прости меня господи...»

Впрочем, двух минут не прошло, как она успела уже захрапеть на всю избу.

— Что бы тебе рассказать? — начал Иван,

почесывая макушку.

— Про мертвецов знаешь? Вот расскажи.

— А ты веришь в мертвецов?

— А ты?

— Я не верю, — сказал Иван.

— А я верю.

— Ну, напрасно. Да ты размысли, разве может мертвец встать?

— Может всегда. У нас в слободе каждую осень мертвецы бродили, потому отчего же им не бродить?

— Глупо, братец мой, ты рассуждаешь.

— А в писании сказано, говорят: мертвые восстают из гробов, — так ты должен поверить.

— Знамо, должен. Я должен поверить, ежели в писании сказано. Только про мертвецов рассказывать тебе не стану. Потому я про них ничего не знаю. Но вот... Сенька... погоди, брат.

— Что?

— Вспомнил. Сейчас расскажу. Такая история...

— Про мертвецов?

— Нет, про змея.

— Хороша?

— Эту, брат, только слушай; смотри не засни. Дли-и-инная... пойдет за полночь.

— Правда это?

— Истинная правда, вот увидишь.

По обычаю всех рассказчиков, приготовляющихся угостить слушателя занимательной историей, Иван несколько раз кашлянул, плюнул, немного помолчал и начал:

— Слушай. В нашем селе некогда жил молодой огородник, по имени Антошка, человек безобразный собою и высоченного роста. Рост у него был так велик, что когда Антошка стоял на пустыре у нашей версты, то издали казалось, будто два столба торчали, ровные между собою. Одной слезы недоставало на верх, чтобы вышли качели. Такой удивительный рост. Ходил он всегда почесть в соломенной шляпе, с палкой или балалайкой в руке. При нем еще находилась белая собака, «Секрет» прозывалась. Мужики ее звали курятницей, ибо она кур ела. Этот Антошка, слышишь ты, был человек необнаковенный. Он имел у реки, на своем огороде, избушку и жил один; занимался такими делами: шил сапоги, вязал сети, строил клетки с западнями и обучал всякую скотину разным артикулам. Что то есть ему ни попадись — кошка ли, дятел ли, свинья ли... нет бишь, свиней он ничему не учил, так как свинья глупа. Но примерно вот цапля; эту он обучал. Одна у него, помню, под дудочку плясала на Фоминой недели⁴. Кроме того, Антошка был отчаянный

⁴ Фомина неделя — вторая неделя после пасхи.

бабник... Что, спит Арина-то? — вдруг спросил рассказчик, подняв голову.

— Спит, спит, — рассказывай.

— Так, понимаешь? Главное, умел подделаться под баб: прибауток знал гибель. Любил он припевать такое стихотворение: «Как под мельницей, под вертельницей, там и старчики (нищие) дерутся, только сумочки трясутся». Во время пения строчит на балалайке и ногами маленько семенит.

Я его знал вот словно тебя и ходил к нему частенько за подсолнухами, за огурцами, а то просто какую-нибудь книжку спросить. У него были «Сухарева башня», «Змей Горыныч», «Правда о мужчине и женщине». Еще, как ее... от запоя что-то... кажется, «Польза от пьянства».

Прежде всего я тебе буду говорить, каков у него дом. Сейчас тыходишь в избу (изба чистая и светлая), видишь: в углу направо разбросаны сапожные инструменты, на стене картины наклеены, и висит под шляпою балалайка. По полу ходит аглицкий петух и куцая галка бегаёт; галка у него предназначена для прусаков, имя ей Матренка. Перед окнами висят две клетки с синицами; по жердям порхает чиж. На лавке под образами привязана к гвоздю крыса, а под столом лежат две собаки: одна белая — курятница-то, другая — щенок, Кубариком прозывалась.

— Зачем же у него крыса?

— А все же для выучки служился. Он, видишь ты, крысу учил на задние лапы становиться, держать трость через плечо и плясать. Да у Антошки не токмо крыса, даже мерин был ученый, лошадь лет пяти, рыжей шерсти: он умел носить в зубах плетушки, ведра с водою, воровать корм. Воровать выучил его Антошка таким образом. В сумерках водил его в чужие скирды и приставлял прямо мордой к сену, а сам из-за валу выбегал и пугал его; да так настроил животину, что она чуть заслышит шорох, так и пустится бежать, только копыта засверкают. Мужики сколько раз дорывались поймать его, — нет, погоди: лошадь не та, чтобы далась тебе. Этот мерин вот какого разума достиг, что знал, каким манером обойтись с мужиком и бабой, в случае, ежели нападут на него: от бабы он никогда не бегал, а заложит уши назад и напустится на нее; баба закричит благим матом, не знает, сердечная, куда деваться. Но от мужика мерин бегал без всяких то есть отговорок; потому смыслит, что мужик — не баба: пожалуй, по ребрам съездит. Одно слово, лошадь четыре целковых стоила прежде, а после выучки сделалась без цены. В наше село приезжал один казак, — так он заподлинно сказал, что таких мереньев на Дону мало. А ведь на вид, братец мой, войлок просто: пять лет от роду, шея длинная, вся в орепьях, да

еще выдерганный хвост; ноги косматые. Опрочи всех этих забав, у Антошки находились на чердаке голуби турманы; штук до двадцати было. Как он за ними ухаживал! бывало, схватит помело, встряхнет волосами и начнет пугать, сам присвистывает: фю, фю, фю... Иногда зарядит, с утра до ночи охотится. Ежели же нечаянно налетит на стадо ястреб, то Антошка сам не свой бывает: и помелом тычет вверх, и кричит, и бегаёт — весь народ взбаламутит. Однажды он в одной рубахе гнался за ястребом верст пять по деревням. Народ в изумление пришел, глядя на него; руками махает, горланит изо всех сил. А то как-то улетела у него молодая голубка; Антошка живо схватил себе в подол кормочку овсеца и поскакал за голубкой. Она пролетела версты три, в селе Пестрове села на дом благочинного. Антошка второпях стал прямехонько перед окнами и принялся шептать: «Ксь, ксь, ксь...» Сам одной рукой держится за подол рубахи, а другой выхватывает оттуда овес, рассыпает его по земле и не замечает, что у окна сидит благочинного дочь, орехи щелкает. Право! голова был этот Антошка.

Расскажу тебе, как он жил дома, как обращался с своими птицами и собаками. Собирается, например, он обедать. Ну, вестимо, сам накрывает на стол, режет хлеб, выставляет из печи горшки. Вся скотина, которая у него в хате,

собирается к столу. Антошка садится среди ее, берет в подол к себе щенка и сидит, словно отец в семействе, и со всеми разговаривает. А синицы и чиж в это время заливаются песнями. Чиж летал повсюду: то на вербы порхнет, то на блюдо сядет. Подле хозяина на лавке стоял обнаковенно петух. Он все присматривался к щенку: чуть щенок зашевелится в коленях, тотчас он его в голову стук, стук и пойдет долбить. Тогда Антошка говорил: «Смотри, смотри, Петька, — я те клевну!.. Глупец».

У нас на селе у парня Илюшки были тоже аглицкие петухи, так Антошка часто говаривал своему за обедом:

— Ты у меня, Петр Петрович, ныне скочетаешься с Плюшкиным петухом: если выручишь, я тебя тогда этак по головке поглажу... да ты не дерись... я тебе черто-плешину закачу; хозяин говорит, а ты должен слушать. Потом, когда видел, что галка, назобавшись, скакала по избе, обращался к ней:

— Галка, галка, Матренушка, куда ты? сыта? Галка, известно, ничего не ответит, а юркнет под печку и оттуда уж что-нибудь прокричит на ответ.

Как должно понаевшись, Антошка вылезал из-за стола, поддергивал штаны и читал вслух молитву: «Благодарю тя, яко насытил мя».

Животные разбредались по избе. Петух садился на перекладину, собака искала зубами

что-то в своем хвосту. Хозяин, подошедши к окну, набивал в трубку корешки — жилку. После отправлялся голубей гонять.

— Да кто был прежде этот Антошка?

— А вот кто. Антошка — сын одного земского. Сначала он учился в городе в училище, потом года четыре шлялся без должности: шалаем был. Отец приказал ему искать место. Антошка нашел себе место у некоей барыни, на конюшне. Должность заключалась в присмотре за лошадьми. Но только ему там не — посчастливилось; раз, в жаркий летний день, случилась оказия: барыне вздумалось съездить на пруд искупаться. Кучера не было дома, приказано собираться Антошке. Он заложил самую что ни есть лучшую пару в дроги, посадил барыню и покатил с нею на пруд, версты за полторы от села. Дорогой с ней разговорился. Барыня словоохотной была. Зашла речь об женитьбе:

— Что ты не женишься? — говорила барыня Антошке.

— А почему вы желаете, чтобы я женился?

— Да, — говорит, — лучше, как женишься: покойней...

— Это действительно, — говорит Антошка, — что покойней: по крайности нет этих тревог, — говорит...

Барыня доложила ему, что он не туда заехал, и

приказала замолчать. Антошка только кнутиком замахал на лошадей.

По приезде на пруд Антошка высадил барыню на берег, сам отъехал подальше к кустам и стал там.

Барыня любила купаться вдоволь. Рассказывают про нее, истинная белуга плавает: то на спину повернется, то боком. Наконец, выкупалась она, вышла на берег, прыгнула к платью, да как ахнет и чуть не упала. А из ближнего-то куста выскочил Антошка. На другой же день формально приказано было прогнать его, чтобы и духу не пахло.

Ну, снова здорово, Антошка начал придумывать, где бы отыскать себе место. Пока думал, а в ту пору он по воскресеньям ходил в нашу церковь; пел тенором на крылосе⁵, читал Апостол и тушил свечи у икон.

Апостол читал он здорово: ух, заберет, бывало, всех галок из-под крыши выгонит. И как прочтет, то всегда мужикам подмигивает: «Дескать, каково?» И хлопнет крышками. Тоже звонил он на колокольне нередко — мастерски: на светлой неделе начнет отхватывать, так все; прохожие подплясывают, идучи по выгону. В прошлом году на святой у церкви собрались бабы лен барской

⁵ *Крылос* — в просторечии клирос: место в церкви для певцов.

стлать; десятской был хмелен. Антошка мигом вскочил на колокольню и тронул в колокола; бабы крепились долго: всё слушали да посмеивались, но как Антошка хватил «барыню», все бросили работу, подобрали юбки и пустились плясать. Пьяный десятский поднял руки вверх, шлепает ногами и кричит: «Наша матушка Росея всему свету голова!»

А то Антошка имел обычай на колокольне галок ловить: страсть его. Раз, во время тоже светлой недели, когда попы были в приходе, он награбастал целый мешок галчат с старыми галками и пришел к молодой дьяконице; дьяконица лежала на своем крыльце; над ее головой сидела старуха с гребенкой в руках. Антошка снял шляпу и говорит дьяконице:

— Здорово живете, матушка. Вот супруг ваш из приходу прислал кур христовлавных.

— Ну, спасибо, — отвечает дьяконица, — поди снеси их в курятник.

Антошка снес в курятник.

Верить ли, как разозлился на это дьякон, приехавши из прихода: «Как он смел!» На другое утро сел и написал, прошение благочинному с жалобой: «Ваше высокоблагословение, такого-то и такого-то числа Антошка огородник в мою закуту высыпал целый мешок галок с птенцами; сказал моей жене на крыльце, что это христовлавные куры. Помилуйте меня: я человек семейный; во-вторых,

мы на пасху кур не собираем, а больше рождеством, следовательно в самое во время собираем...» Благочинный даже бородой потряс от гнева; вон что наделал Антошка! Я тебе рассказываю все про те штуки, которые Антошка творил, живучи у отца. Отец ненавидел его шибко. «Хоть бы уж в острог поскорее его взяли», — говорил он.

Да и Антошке с отцом не всласть было жить. Однава как-то, осенью, что ли, отец Александр объявил в церкви энифест: «То и то, православные христиане, на нас восстает англичанин; просим покорно в солдаты». Антошка, выслушав энифест, возрадовался. Вскорости пошел в город и там нанялся за мещанского сына в солдаты. Уговорился, получил вперед денежки триста рублей. Прогулявши их, он подступил к мещанину и говорит:

— Вот что, почтенный, ты должен сообразить: что можно ли меня нанимать в солдаты? Ты сперва должен спросить у моей родимой матушки. Что она скажет? А так-то, ни уха ни рыла не смысля, не делают.

Мещанин посмотрел на Антошку и воскликнул (простачок он такой был):

— Да что ж значит? что это такое? Значит, грабеж? Значит, примерно, по-свинячьи поступаешь со мной? Стало быть, на тебе суду нет?

Однако пришел с ним вместе к его матери;

мать — сердитая баба. Она в то же время страдала родами. Мещанин начал объяснять ей:

— Вот, значит, матушка Анна Ивановна, теперича благословите вашего сына; значит, удалиться он хочет от вас.

— Куда?

— В солдаты.

— В какие солдаты? Да ты у кого же спросился? Ты не видишь, сын болван? не видишь, он дурак?

Вскочила баба и давай полосовать мещанина за виски. Мещанин как вскрикнет: «Караул, значит, — убили! виски все повыдергали!» Дошла очередь до Антошки.

— Поди-ко ты сюда, — сказала ему мать. Антошка подошел и с покорностью наклонил голову.

Она его за волосы. Только мещанин отвечает:

— За что же вы, сударыня, деретесь? Значит, ваш сын триста рублей прогулял, а я виноват?

— А ты знаешь, лошагод этакой, у него порок на спине, шрам? (порока не было). Куда его возьмут? А без моего-то благословения материнского разве возьмут?

Мещанин поговорил крошечку, видит — с бабой не столкуешь, махнул рукой и вышел вон. Антошка себе за ним. На улице говорит взад мещанину:

— В ус не вдунулось, как я тебя надул.

— Да, — отвечает мещанин.

Вечером, с балалайкой под мышкой, Антошка забрался в заречную слободу в хоровод, всем рассказывал эту историю и угощал баб прибаутками. «Ишь те леший поддернул наняться, — говорили бабы ему, — да что это ты? право слово».

Не хуже мещанина он обманул бабу солдатку. Потребовался ей паспорт; она пришла к Антошке и сказала: «Иду, Антон Митрич, для проживания в город Пензу, как мне быть?»

Антошка отвечает: «Сейчас напишу тебе паспорт». Написал ей грамотку и подает: «Ступай, матушка, на все четыре стороны». Баба с этой грамоткой пошла да в первом же городе и застряла. Ее остановили. А там в паспорте написано. «Очистим чувства и узрим...» — целая песня праздничная. Печать приложена; под печатью подписано: «Сликатарь Мерзавцев». Одно меня в сомнение приводит: как он не попался? Чего, чего не делал? Главная причина: счастлив был. Он, вот ты увидишь, еще не то сработает: он в дураках все наше село оставит.

Надо тебе сказать, что в ту пору, как солдатке он написал паспорт, отец совсем выгнал его из дому. Тут Антошка нанялся к нашему огороднику. Огородник был человек старый, вдовый. Году не

прошло после поступления к нему Антошки, как он умер. Антошка заступил его место. Огородником он стал жить поживать так, как я тебе описывал, то есть: занимался сапожным мастерством, обучал животных, продавал огурцы и увеселял баб. Бабы, нечего таить греха, любили его, хоть и безобразным считался. Иногда завидят его где-нибудь, закричат: «Антон, Антон Митрич!» — и махнут к себе рукой. Он подойдет, снимет шляпу, а ногу отшвырнет назад и хватит на струменте с припевом: «Кости болят, все суставы говорят». Сам то и дело подмигивает. Домовой был насчет этих делов! Но вот, слышь, жениться он ни за что не хотел. «Э, скажет, то ли дело — свобода: одно слово, Акулька, вздохни!»

Слушай, теперь пойдет история такого рода. Сейчас Антошка примется ворочать делами как следует. Ты, Сенька, спишь или нет?

— Где же? посмотри.

— Полюбилась Антошке одна девка на селе, по имени Апроська. Девка красивая, толстая, но маленько с придурью, так немножечко. Тем больше понравилась она ему, что толста была. Подбрюдок висел у ней, словно у кормной свиньи; а ходила разваливалась: ступень давала ровно по рублю. Привычка у ней была такая: станет, бывало, у своих ворот, возьмется за брюхо руками и басит: «Чу-ух, чух, чух...» И такая незамайка. Подойдешь к ней,

скажешь:

— Апроська!

— Чего?

— Ну, ничего. Завернется, пойдет.

Я, братец ты мой, был сердит на нее за то: как-то зимой мы с ней молотили рожь; я по колосу, она по поясам. Молотили, молотили, она как ожжет меня по лбу цепинкой. Месяцев шесть шишку носил! Вся в матушку свою родимую. Мать ослопина изрядная была. Я тебе расскажу, каковы эти люди дочка с матушкой: обе разини такие, что сказать не хочется. Года с два назад в нашем селе случился пожар. В Апроськином доме сидела одна ее мать, качала ребенка. Когда пожар начался, Апроська пришла с пруда домой, вправо, влево поклонилась (любимая ее ухватка), поздоровалась с матерью и затягивает не спеша:

— Матушка.

— Чего?

— Горят.

— Где, дочка милая, горят?

— Да Миколаевские горят. (А Апроськино село и есть Николаевское).

— Ну, господь с ними, дочка любезная. Апроська и ушла на двор рубахи вешать.

На селе крик раздается, все гамят: слышно, пожар недалеко от Апроськина дома. А ее мать сидит и шепчет: «Шум какой... поди ты!..» Опять

дочь приходит в избу. Мать на прежнем месте шепчет по-прежнему: «Дела какие... Оборони господи...» Апроська говорит:

— Матушка, горят.

— Чего?

— Горят.

— Да где, дочка милая, горят?

— Да Николаевские горят.

— Да чего Николаевские горят?

— Да как чего?

Насилу встала мать; пока обрывок снимала с ноги, пока иглу в голову втыкала, Апроська успела куда-то пропасть. Выходит в сени, дочь ей навстречу. Стали они в сенях друг против друга, смотрят одна на другую и начинают. Сперва дочь (на селе голоса раздаются):

— Матушка!

— Чего?

— Горят.

— Да где, дочка милая, горят?

— Да Николаевские горят.

— Да чего ж они горят?

— Как чего? Не видишь, дым в сенях?

Вдруг над ними обрушилась повесть и на голову огонь посыпался. Вот тебе горят! до чего дотолковались. Мать маленько еще поглупей будет дочери. Ты заметь, что Апроськи теперича вживе нет; она скончалась давно; потому осуждать ее я не

хочу, бог с ней! Но что глупенька была! Насчет же красоты девка добро. Вот и полюбилась она Антошке. Сама, впрочем, Апроська не думала его любить. Антошка, невзирая на то, принялся ухаживать. Лишь где увидит ее, подскочит и начнет ублаговывать балалайкой, песенкой, рассказами разными. Девка в это время, известно, смотрит куда-нибудь в сторону или наземь. Потом слушает, слушает его и брякнет: «Не дури; бачке скажу...» И отвернется. «Что за диво такое? — думает Антошка. — Я к ней всей душой, жить не могу, а она, как дерево; может, подарков хочет?» Приносит ей подарков: ленту, пуговицу там — нет! Замечает, девка пуще дичится, даже встречаться боится, наконец вовсе не показывается. Иногда выйдет на крыльцо и опять скроется. Антошка будто призадумался.

Наступила весна. Сельские девки показались на лугах, на пустырях: явились хороводы. У нас хороводы бедовые бывают. Апроська с девками гуляет, Антошка тоже. Пошли игрища всякие. Антошка своего дела не бросает. По-прежнему прибаутками потчует Апроську. Иной раз среди игры, словно не нарочно, насунется на нее. Смотрит, девка снова заартачилась. «Что за оказия такая?» — рассуждает Антошка.

Дальше Апроська и в хоровод бросила ходить. Зарю сядет у своего дома на завалинке с шитьем в

руках, штопает и поет про себя басом:

«В той кузне молодые кузнецы куют, дуют
да наваривают».

Долго ли, коротко, Антошка порешился вот на что: он принялся подсиживать ее. Где ни на есть в канаву заляжет или возьмет под скирдами притулится. Больно, стало быть, в любви захотелось изъясниться. Уж он в частую отзывался о ней: «Эх, девка-то прелесть!» Подсиживал день; другой — не показывается Апроська. Что ты будешь делать? «Погоди же, думает Антошка, я тебя подкараулю в другом месте; у тебя же на дворе. Ах ты дерево проклятое!»

Дом Апроськин стоял на горе с краю слободы. Той же весною, поздно ночью, Антошка забрался к ней на двор. Перешагнул через плетень, обошел закуты, высмотрел кругом и стал под навес в угол, где лошадиная сбруя вешалась. Темь была, глаз выколи. Антошка, одначе, поместился так, что мог видеть избенную дверь. Он надеялся, что в нее выйдет как-нибудь Апроська за каким ни есть делом. Стоял он долго: не видать ничего, не показывается девка. Вдруг около двора что-то затрещало, заскрипели ворота, и на двор въехал на телеге мужик. Антошка про себя говорит: «Ну, кого-то привалило». Это был Апроськин отец. Он

слез с телеги, отпряг лошадь, снял хомут, взвалил его на плечи и идет к тому месту, где стоял Антошка. Антошка видит эту церемонию, только не знает, куда скрыться. Мужик поднял над ним хомут и пялит на голову, думает, что на крюк вешает. Антошка как ударится бежать мимо мужика, мимо плетня, да в ворота и исчез. Вот тебе премудрость.

Мужик хомут уронил, разинул рот, растопырил руки, не понимает. Постоял, покачал головою, сотворил крестное знамение, плюнул и стал размышлять: «Кто, мол, это такой? Нечистая сила? Нет, господи спаси. Вор? Нечистая сила? Кто же это?»

Хомут лежал на земли, лошадь шлялась по двору. Пришедши в избу, мужик долго сидел под иконами повеся голову. Все домашние с изумлением смотрели на него: бледный сидит; шепчет про себя. «Не помешался ли?» — думали они.

Жена подошла к нему, дернула за рукав и сказала:

— Захарыч, а Захарыч, опомнись!

Он вздохнул и объявил:

— Так и так. На дворе у нас невесть что завелось.

— Что ж такое завелось?

Призадумались домашние. И так и этак прикладывали умы свои — ничего не выходит.

Апроська лежала на печи, себе прикладывая ум — тоже ничего не выходило.

Немало мужики растабарывали промеж себя касательно, что на дворе не чисто. Заключение же тем: вор приходил — кобылу свесть. Однако у образа свечу поставили и помолились на сон грядущий крепко.

Наутрево, после своей прогулки-то, Антошка, как ни в чем не было, сажал на своем огороде капусту, бегал с ведрами на реку. А после обеда поехал с дьячками на крестины в приход. Дьячков он любил: часто обнимался с ними, целовался, хоть заочно и называл их долгогривыми жеребцами. Когда Антошка ехал с дьячками в приход (у нас пятеро дьячков), то на телеге трясся пуще всех и выдвигался, будто каланча; обычай они все имели дорогой кнутиком собак дразнить. Ежели теперь слышишь на улице особенный брех, то знаешь, что это едут дьячки с Антошкой. Легонько на крестинах подвыпивши, Антошка ручался перед компанией, что он может комаринского пробежать, в случае, как позволит ему отец Александр, — то есть даст свое, примерно, благословение. Но мужичок-хозяин отклонил его намерение, объяснивши, что новорожденный чуть жив, не до комаринских... «Ты пляши, говорит, да разум помни, Антошка. Тутось не девки тебе попались». И озадачил его. Антошка притих. После с сердцов

говорит себе: «Уж ежели так, — значит, девками попрекать стали, затешусь же опять к Апроське, я ей дам».

Пришел май месяц. Мужики выбрались на дворы спать. Антошка знал это и, наверное, рассудил, что пора поспешить Апроську посетить; потому надо проведать, где она спит? Апроськины домашние спали кто где попало.

Теплою, погожею ночью Антошка при первом куро-глашении появился на Апроськином дворе. По обычаю, выглядевши все вокруг себя, зашагал он под навес, как словно дворной, что лошадям косы заплетает. Ночь была ни светла, ни темна: звезды горели, месяц не восходил, — знаешь, майские ночи. Перевел Антошка дух, недалеко, слышит, храпенье распространяется. В соседней закуте едят лошади корм, едят, едят да вздохнут. Антошка стоит себе, вздохнет: «Дескать, эхма! шутка ли, забрался куда, в какую погибель! Ну, вдруг проснется кто, увидит? На месте уколотят». Мужик относительно сего безмилосерд. У нас в селе, знаешь, случай был: столяр увидел в сарае свою жену с холопом. Холоп и жена стояли спиной к столяру и не видали, как он подкрался к ним и посадил обоих их на вилы. «Ну, ежели совершится то же событие? — думает Антошка, — была не была, начну. В главности, подсмотреть должно, где спит дерево Апроська?» А дерево знать не хочет рассуждений Антошки,

почивает под навесом. Подошел Антошка к соломе, кто-то лежит; пощупал — борода чья-то. Антошка пошевелил бороду, борода вздохнула и повернулась к нему спиной. Догадался Антошка, что это отец. Приступил к саям: лежит Апроськин брат. Подошел к телеге, запустил руку, пощупал — что бы такое значило? Тронул в другом месте, — ничего. Тронул в третьем — как крикнет Апроська. Антошка драло. Вскричали мужики. Антошка в ворота. «Что за диво?»

— Апрось!

— Чего?

— Что ты кричишь, матка?

— Чево?

— Что ты кричишь?

— Да кто-то приходил.

— Кто же это приходил... Господи помилуй. Кому приходиться в такую пору? кому приходиться? Феноген, а Феноген, — говорил своему сыну отец.

— Что, бачка?

— Слышь ты, что скажу: мякаю я, словно то есть у нас на дворе-то не чисто, а?

— Не знаю, бачка.

— Право слово, не чисто. Не чисто, говорю я. Собирайте-ка зипуны свои. Право, что-то... Пойдемте в избу. Господи! за что такая немилость? чем прогневили тебя, создателя?

Как встрепанные, все встали, собрали зипуны,

кафтаны, сбились вместе и побрели боязливо по двору. Идут, прижимаются друг к другу, творят крестное знамение. Гроза будто на небе зашла и разыгралась. Испугались сердечные мужики. «В грозу, дескать, страшно спать на дворе... пойдём в избу... помолимся иконам... Авось пройдут тучи-то... Ишь как молния-то сверкает! Господи защити!..»

Да, братец мой Сенька, жуть была в ту пору во всем нашем селе. Всем ведь втемяшилось, что к Апроське летает змей, не кто иной. О-о-хма! бывают на свете дела, тяжкие дела, Семен. Может, такие люди свыше насылаются, как Антошка, почем знать? На белом свете много чудес и таинств совершается. Иногда мне жалко становится Апроську, и очень: пострадала она, бедная, на своем веку.

Прошла ночь. Мужики, только солнце взошло, явились к нашему священнику, рассказали ему все, что случилось ночью. Апроськин отец как плакал! Говорит: «Батюшка! за что такая невзгода?»

Антошка забыл думать о своих путешествиях. Рано-ранешенько он с бабами прогонял в стадо скотину. А когда мужики пошли к священнику, в это время он сидел на солнышке у своей хаты, поглядывал на поповский дом и зубами колок на балалайке вправлял: стало быть, приговаривался разыграть что-то.

Пред обедом дьячки с стихарями, с книгами, с кадилами тронулись в Апроськин дом. Шуму довольно было: на улице барщинские мужики остановили лошадей с возами, поснимали шляпы. Антошка, не будь дурен, оделся, схватил палку в руки и с дьячками побрел. Дорогой Лузину дьячку, у которого он купил щенка, рассказывал в смех, как некоего села дьячки подрались меж собой и как одному из них вырвали бороду. Эту бороду обиженный словно представил в консисторию при своем прошении и надписал внизу: «В удостоверение бесчинства прикладывается борода. Сию бороду выщипал пьяница, который обесчестил меня на крестинах».

— Ну, — говорил Антошка хозяину, — теперь у вас будет все благополучно. Помолились знатно!

Мужик зарыдал, послушавши эти речи.

Антошка сказал: «Не плачь. Видишь ли: помолились мы... следовательно, что ж тут? И разговаривать нечего: ведь заступница-то, она, брат, того... спасает; а твое дело, вестимо, правое».

За обедом Антошка советовал двум дьячкам затянуть погрустней, как можно: «Зряща мя безгласна».

На пиршество смотрел народ, стоял у дверей избы.

Пообедавши, причт поблагодарил хозяина, пожелал Апроське благополучия и вместе с

Антошкой отправился домой.

Неделя миновала. Змей, кажись, призатих. Домашние Апроськины долго не ходили спать на двор, кругом запирались, но с Ильи-пророка^б начали спать и на дворе. К Апроське на селе боялись приступить. Ежели же кто приступал, то обходом, стороной, вглядывался в нее и отходил прочь. Посмелей человек заводил с ней разговор: «Что, мол, змей-то обширен?» Апроська стояла и косилась.

Однава перед вечером приходят к Апроськину отцу два мужика: один мельник, другой простой мужик. Говорят: «Что, Петрей, как поживаешь?»

— Плохо, братцы, плохо. Наказал меня бог: ни одной ноченьки покойно не засну.

— Знамо, житье такое скверно; хотя, конечно, всякий может согрешить. Только мы, видишь, пришли к тебе по делу. Поставь-ко нам сивухи на стол, мы с тобой потолкуем.

Апроськин отец достал водки. Мельник слыл у нас за знахаря.

— Вот дело какое, — заговорил мельник. — Рассуждали мы немало о тебе. Можем мы тебе сказать одно: ты подлинно наказан есть от бога; ты согрешил перед ним здорово!.. В хате у тебя кто-нибудь есть?

^б С Ильи-пророка — то есть с 20 июля по ст. ст.

— Как же.

— Гони вон.

Апроська с матерью вышли из избы.

— Слушай, Петрей, — заблаговестил мельник. — Сказать, кто к тебе ходил?

— Ума, батюшка, не приложу. Полагать нужно, нечистота какая-нибудь. Известно, люди мы безграмотные: может, еще что шлялось.

— Нет, ты скажи мне: как зовут твою дочь? Апроськой?

— Апроськой.

— Так я тебе говорю: к твоей Апроське ходит не змей, а домовый... Слушай дальше: ежели же не домовый, то беспреренно дворной...

— Так, батюшка...

— Ну-ко, давай водки-то, не жалея. Объясню тебе еще притчу: девки существуют различные, какова натура: натуры тоже бывают различные. Поэтому Апроська Апроське рознь и девка на девку не находит...

Охолостивши водку, мельник поднялся с места и сказал Петрею:

— Мотри же, не забудь, что я тебе толковал...

Мужик простой-то, что приходил с мельником, при выходе говорит Апроськину отцу:

— Ты понял, что тебе говорили? К твоей дочери приходил не змей, а домовый... Видишь?

— Вижу.

На пятую никак ночь, после Ильи-пророка, Антошка появился снова на Апроськином дворе. Забава эта была не широка. Он много не стал думать, раздумывать: прямехонько-таки подлетел к телеге, в которой спала Апроська, охватил ее за оглобли и повез домой со двора — в конопляник. В эту минуту встрепенулся Апроськин брат.

— Бачка, бачка, — крикнул он. — Девку увезли.

— Увезли?

— Увезли.

— Пошел!

Подбежали к воротам, телега на боку стоит, завязла между кольев. А Апроська в ней дрыхнет.

С надворья же, поодаль от конопляника, в анбарчике такой стук раздается, словно барабан гудет. Подступили мужики, глядят: дверь приперта колом (это Антошка припер Апроськину мать). За дверью баба кричит: «Отоприте, Христа ради». Думают мужики: «Вон как! стало быть, значит, заточил бабу наглухо!» Сам Антошка, как слышал гомозню, пробрался через конопляник и был таков.

Пришли мужики в избу. Начался суд.

Что, мол, теперь делать? Как быть? Просто издыхать остается, боле ничего. Откуда такая пропасть?

— Бяда, — говорил сын. — Пропадешь, как

червь капустная.

— Сгибнули совсем. Что ты станешь делать? Ах ты, тварь оглашенная! Ни единого часу нет спокойствия: то есть на волос забыться не дает. — Что теперь делать?

— Послушай, бачка, — объявил сын. — Надо безотменно ехать к ворожее: не замай ее осмотрит девку. Докуда мучиться?

— К ворожее, — крикнул отец. — Запрягай лошадь! Апроська с матерью в ту пору входили с надворья в избу, глаза прочищали.

Почесть немедля мужики собрались и поехали к ворожее. Утро покуда не наступало. В Апроськиной хате горел огонь; в ней сидели дочь с матерью. Они молча смотрели друг на дружку; мать зевала и почесывала в голове. Только Апроська запекает:

— Матушка!

— Чего?

— Куда эта бачка поехал?

— Не знаю, милая моя. О-ох!

— Змея искать?

— Кажись, что так: змея искать...

— Вот!

Поглазели маленько и завалились спать. До солнца дрыхнули.

Как скоро мужики стали упрашивать ворожею лечить девку, она, братец мой, не на шутку

запировала, — вскричала на них: «Вы, говорит, крещеные или нет? Зачем я пойду к вам? Да меня змей тогда закатает до смерти!» — «Не оставь, родимая, — твердили мужики, — не дай погибнуть». Вечером, набравши с собою горшков, трав, ладану росного, она приехала в Николаевское.

Апроськин отец приказал домашним своим по двору разостлать соломы и холст протянуть, чтобы по нем пройти ворожею. Ворожею повидалась с Апроськиной матерью и принялась по столу припасы раскладывать. У образов, как водится, зажгли свечу; Апроську вывели на средину избы. Тут собралось сельское начальство: бурмистр, староста, приказчик. Тоже ребяташки нахлынули со старухами и девками. Апроська осматривает всех. Ее посадили на лавку и под лавкой затопили в горшке ладан; пошло лечение. Народ наблюдает, как ворожею орудует. Приказчик в картузе стоял и поплеывал назад, нередко попадая в бороду бурмистра. Он полубопытствовал спросить у мужиков: видела ли Апроська змея и кто он такой? Ворожея ему сказала, что, ваше благородие, видеть змея человеку нельзя, ибо он есть дух. Приказчик с носом и остался, закурил трубочку. — К Апроське ворожея подбегала то с пойлом каким-то, сама все губами нашептывала, то с куреньем. Чад в избе подняли. Мать стоит у притолоки, спрашивает Апроську:

— Ну что, дочка милая моя, каково?

— Теперича легче, — отвечает Апроська.

— Как же можно, — прибавляет ворожея, — много помощи приносит...

Мать подойдет, погладит девку по голове.

Одним словом, через полторы недели Антошка опять забрался к Апроське. Ровно в полночь настужь растворил ворота, впрягся в сани (девка в санях спала) и повез их по двору. Так развадился путешествовать.

— Бачка! — гаркнул сын.

— Что? что?

— Вставай! Увезли.

— Увезли?

— Так точно.

Сани очутились уж близ конопляника. Мужики прибежали, глядят: в санях сидит Апроська, глаза кулаком чешет, — прислушались кругом — ничего нет.

— Апрось! кто тебя увез? — спрашивают.

— Змей, бачка.

— Так, бачка, — сказал сын, — это его работа; кому ж больше?

Отец, будто полоумный, смотрел на сына с дочерью. Пришедши в избу, он сел на коник, схватил себя за волосы и заголосил:

— Господи! когда ж будет конец всем этим мукам? Жизни сейчас лишусь я; подайте мне оружие. Спать мне не дают; потому глаз сомкнуть

нельзя!

— Бачка, остепенись; послушай меня, — заговорил сын. — Коли на то пошло, сию минуту надо ехать к начальству, прямо к становому.

— Ей-же-ей, к становому! — сказал отец. — То есть к становому! Скорей седлай поди лошадей.

Еще первых петухов не было, как мужики, снарядившись в путь, отправились в деревню Быковку к становому. Апроська с матерью заперли за ними двери и легли спать.

Становой любил уголовные дела: так и возрадуется, бывало, как скажут ему, что там-то один другого зарезал или кнутом засек. Звали его Федор Федорыч; низенького роста, руки длинные, толстая шея.

Но касательно указов, предписаний становой за лихача слыл. Наваляет и ловко и бойко: «По моему, дескать, мнению, то и то надобно, да чтобы про это дело никто не знал; иначе мне в тюрьме сопреть немудрено...» Привычки у него были такие: ежели, например, сбирался к какому-нибудь мужику на следствие, то обходился с ним ласково, трепал его по плечу и спрашивал:

— А что у тебя в дому, старичок, имущества много? Я, ты знаешь, леший: мне ничего на глаза не вешай.

Когда случай выходил, что в его передней мужичок доставал из кармана деньжонок (известно,

мужик копается долго, когда достает деньги; будто о чем-то раздумье его берет), тогда становой обнаковенно курил перед ним трубку, водил себя рукой по макушке и говорил:

— Да ты, любезный, шляпу-то с рукавицами положи на пол: тебе ловчее будет.

Наших николаевских мужиков он принял хорошо: расспросил подробно все и справился, точно ли труды его не останутся без награды? И присовокупил: «Я, братцы, не поеду к вам сам; случай-то пустяшный. Ежели бы убийство...» Однако снабдил их, чем следует: рассказал, каким родом поймать змея, и строго запретил говорить про это на селе.

В обед мужики возвратились. Антошка, гонявши голубей на огороде, видел, как они ехали по улице, и издали снял им шляпу. Становой дал приказание: каждую ночь напролет караулить змея тридцати человекам, да так, чтобы его поймать и на месте уничтожить. «Я, говорит, его впрах расшибу». Затем, никому не болтать про стражу. Вдобавок мужики от него привезли писанный указ нашему приказчику об отпуске на караул мужиков.

Народ, хоть становой и заказывал не болтать, живо пронюхал его указ. Да как не пронюхать? Вечером Антошка первый пришел к дьячкам и говорит:

— Господа! не угодно ли кому со мной на

караул отправиться? Становой дал приказание змеев уничтожать.

Один из дьячков согласился. В сумерках, после скотинного вгона, они вместе с толпами крестьян двинулись к Апроськину дому. А туда набежало народу — ужась. На дороге по селу девки, бабы шныряют. Кричат:

— Акулька!

— Ау-у-у!

— Погоди меня, погоди.

— Матрюща, куда бежишь?

— Ох, матка; чудеса бегу смотреть. Говорят, становой змеев наловил.

Антошка с дьячком пришли к Апроськину дому. Народу видимо-невидимо вокруг двора; пушкой не прошибешь. Кто просто глазеет, а кто уж посылает за водкой.

— Что, касатка, — тараторят бабы, — говорят, змей-то шестиглавый?

Стража началась поздно сумерками. Караульные, выслушав указ станового, устроили дело так: они воздвигнули по дубине на плечи, приказали народу расступиться, потом с божией помощью вывезли телегу на улицу на средину дороги между конопляником и стали класть в нее девку — для приманки. Становой дал на это особое приказание: «Положите вы девку на ночь с тою целью, чтобы змея приманить, и не болтать никому

про мое распоряжение, не то, говорит, я вас!» Апроська видит, обступили ее мужики с дубинами, возмечтала, что ее убить хотят. Шум подняла. Ее кладут в телегу, а она кричит: «Батюшка, заступись!» Мужики над ней стоят и говорят: «Лежи, девка, становой велел...»

Около полуночи мужики говорят: «А что? чай, не ладно торчать с дубинами среди дороги? Змей-то не с ума спятил, чтобы полетел тебе прямо навстречу». Один за другим, разбрелись по сторонам; человек пятнадцать затесались в коноплю и всю ее переломали. Остальные разместились обapol двора под навесом. Антошка также в числе караульных был. Он с дубиной гулял по двору: от нечего делать забежит в избу бражки попить, закурить трубку, а то подступит к Апроськину отцу и скажет: «Вот так-то, братец ты мой, вдревле оной змей свирепствовал в пустыне!» Мужик вздохнет крепко-прекрепко, индо слезы навернутся. Антошка выйдет наружу, постучит дубиной по воротам и грянет: «Слу-ша-а-а-ай!» А там вдалеке ему отвечают: «Подсматрива-а-а-ай!»

— Да цела ли девка-то? — крикнет Антошка.

Пойдет смотреть. Запустит в телегу руку, словно в огурцы, и скажет: «Цела!» Потом запятит снова: «Слушай!»

Так минула ночь.

Утром мужики едут к становому с отчетом.

— Ну что, как? — спрашивает он.

— Все благополучно, ваше высокоблагородие.

— Молодцы! А змея не видать?

— Нет, ваше высокоблагородие, не видать.

— Отчего же?

— Да не можем знать. Кто его знает?

— А приманку кладете?

— Как же, ваше высокоблагородие, кладем.

Уж и бог его ведает... Мы и «слушай» кричим изо всей мочи, и «подсматривай».

— Ну вот и вышли невежи. Разве можно такую птицу пугать своим зевом: «слушай» да «подсматривай»?

В следующую ночь «слушай» и «подсматривай» не кричали, тихо было.

Таким образом, стража продолжалась аккуратно месяц. Апроська не на шутку исхудала, сердечная.

Вдруг от станowego приезжает верховой с объявлением: «Приманку не класть в телегу... Глупо класть приманку в телегу, тогда как... змею все равно: с приманкой ли телега, или без приманки, сиречь пустая она или с приманкой, значит с Апроськой. Не разберет ночью».

Приманку отменили. А Антошка бросил ходить. «Дурак, говорит, я, что ли: стану без приманки шляться?»

Тем дело и кончилось.

Грушка

Жив еще старичок-то — мой тятенька... ни единого волоска на голове, а тоже иное время пустится в присядку! чуден родитель!.. Когда же захмеляет, то всегда запеваёт: «Ай ты, молодость... буйная!» разинет рот, а там ни одного зуба нет!

— Потап Егорыч! а вы знавали Ипполита Иваныча?

— Нет-с. А что?

— Ничего. У него все, знаете, пословица: болван!

— Г-мм...

— Потап Егорыч!

— Чего-с?

— А я, значит, вот что: мне теперича хотелось то есть знать от вас: почему вы не женитесь?

— Да я, Сидор Семеныч, уже был женат. Разве в другой раз?..

— Ну в другой.

— И то ведь думаю посвататься; но боюсь, Сидор Семеныч: моему-то тятеньке до меня дела нет; я кажинную материю должен сам сообразить. Жениться, говорит пословица, не напасть, да чтоб женившись — не пропасть...

— Я понимаю. Но поискать девку-то можно.

— Обвенчался я, Сидор Семеныч, с одной купеческой дочерью, — истинно закаялся;

подхватил, можно сказать, такую скотину, — сам не рад... Грушкой дразнили...

— Что ж так?

— Так-с...

— А как вы, Потап Егорыч, мыслите насчет супружества?

— Я так мыслю, что жена должна быть супружницей своему мужу... одно слово жена... она обязана чувствовать все, понимать всякие мужнины добродетели; так как чрез эвто самое может произойти глупость...

— Справедливо. Я знавал некоего купца, так он свою жену в гроб вогнал.

— Известно; мы знаем доподлинно, что жену во гроб вогнать — ничего не стоит, потому что жена для своего мужа — все равно — плюнуть да растереть...

— Вот! я сейчас тоже доказать хотел. А ваша жена плоха была?

— Так плоха, Сидор Семеныч, что прямо одёр была супруга... и первое дело — обманщица... Значит, не судьба моя! хорошо, что убралась она, царство ей небесное!..

— Позвольте, Потап Егорыч, табачку понюхать... Вы мне опишите поподробней... Готово!..

— Я с ней познакомился еще очень далеко до свадьбы. В ту пору я был приказчиком,

сидельцем.

— Да, да, приказчиком.

— Вот и да! Однаво гулял я летним вечером... Сначала-то, Сидор Семеныч, пойдет весело... ничего... занятная история. Ну, и гулял. Вот этак в одной руке держу тросточку, а в другой пеньковые перчатки и помахиваю ими на все четыре стороны. Стало темнеть. Я начал теперь размышлять: «Не пора ли, дескать, домой?» Думаю: «Пора!» — и пошел. Смотрю — на тротуаре идут две девушки: одна то есть горничная, а другая самая моя супружница, примерно, покуда девушка Аграфена. Хорошо; глаза у ней черные, брови черные... «Сем, говорю, подлабынюсь, попытаю счастье...» В случае, какова ни мера, можно тягу дать. Захожу сбоку и веду речь...

— Позвольте, Потап Егорыч, к кому это вы подходите?

— Да то-то к Грушке: купца Мурашкина дочь.

— Ну?

— И говорю: «Куда, сударыня, гуляете?» Она отвечает: «А вам на что, мон шер?»⁷

— Нам, значит, особенной важности мало... осведомиться желательно — не больше того.

— В эвтом раз иду, — говорит, — с гулянья.

— А нельзя ли полюбопытствовать, как ваше

⁷ Мой милый? (от фр. *mon cher*).

имечко?

— Аграфена Власьевна Мурашкина.

— Так-с. Что же вы, Аграфена Власьевна Мурашкина, стало быть, теперича домой отправляетесь?

— Домой, — говорит.

— Ну, а ежели внезапно смеркнется?.. Не опасно одним вам, примерно, идти?

— Нисколько: наш дом-то вот он!

— Где?

— Вот он.

— Гм... так, следовательно, до свиданья!

— Прощайте-с... А как вас зовут, мусьё? — спрашивает она.

— Меня, стало быть, зовут Потап Егорыч Свинын.

Комедь эвта тем и кончилась. Одначе я дела не бросил. Зачал я с того времени прогуливаться у ее дома, все, знаете, по вечерам. Попробовать не мешает. Дом у них каменный; мезонин слишком здоровый выведен. Разгуливаю себе. Она сидит у окошечка, вяжет чулок али колбает⁸ что, — сама, понимаете, романсы поет. И пела она, скажу вам, Сидор Семеныч, ладно; пела, как бы доказать — чисто певчая какая... голос манерный и такой, что, к примеру, нашей мещанке тягаться далеко, куда!

⁸ *Колбать* — плохо шить, копать.

Грудью она не брала, а, значит, визгом больше... одно слово — важно!

Прохожу раз, Сидор Семеныч, мимо окошечка, в другой прохожу, говорю: «Дай поклонюсь, сделаю почтение». В третий иду, сымаю шляпу: «Вот, мол, вам... изволите, видеть?..» Она увидала, себе кланяется. Я усмехнулся — она ничего, только глаза под лоб подкатила. Тут я смекнул, что надо работать дальше...

На другой день иду опять. Гляжу — сверху из окна вылетает записочка, порхает по воздуху. Мигом схватил я ее, бегу в ресторацию, потребовал пару чаю и читаю. Пишет, стало быть: «Душанчик... ангел мой (девка горячая была). Ежели бы вы знали, как теперича у меня стремление к вам... от души всего сердца пылаю к вам девушка Аграфена... Сладострастию же моему, говорит, не имею границ — ибо свидание наше в Гречихином переулке должно беспременно быть завтра в 9 часов ночи: всячески ожидаю вашего согласия...»

Формально, Сидор Семеныч, свидания я желал. Ведь девчонка она была добротная, румянец во всю щеку. Карахтером ажно ль⁹ дрянь вышла. Наране, как следует, я приоделся, подвязал желтый

⁹ *Ажно ль* — неужели, разве что (обл.).

шелковый платок под шею, запер лавку и отправился в Гречихин переулок. Прихожу; она там, с девкой стоит. Скидаваю шляпу.

— Здравствуйте, Аграфена Власьевна.

— Здравствуйте, — говорит, — Потап Егорыч. — Вижу, совестится.

— Здоровы ли?

— Слава богу-с. — Молчит. Потом обращается ко мне: — Что, Потап Егорыч, вы вчера получили цидулочку? — а сама перебирает пальчиками и смотрит мне на сапоги.

— Так точно-с. Имел даже оказию прочитать... Вот ахнул, ей-богу!..

— Так вы, — говорит, — прочитали?

— Прочитал-с.

Опять молчит да вдруг как цапнет:

— Желаете вы, говорит, быть моим предметом? Меня эвто вскуражило. Докладываю:

— Аграфена Власьевна! неужели ж эвтого не желать? надо мною всякая то есть бессловесная скотина содрогнется, ежели я не пожелаю...

Прошла неделя.

В некий день является ко мне ее девка и дает мне от Груши наказ такого качества, чтобы я по средам и пятницам ходил к ней в четыре или пять часов утра, как лишь только заблаговестят к заутрени. «Ее отец и мать, говорит, стало, уезжают тем временем к заутрени, так, слышь, извольте,

говорит, пожаловать для, значит, препровождения скуки ради... в ее комнату... я, девка, вас провожу туда».

— С моим одолжением, — говорю. — Только вот что: как бы теперича шкандалу не было? Ведь, — говорю, — меня там должны оглоухами накормить за мои посещения.

— Не сумлевайтесь. Ничего.

— Ничего так ничего. — Принялся я похаживать к ней. Хожу благополучно день, другой. Бывало, Сидор Семеныч, не поверите, — ночь не спишь: все боишься, как бы не прозевать. Слышу, благовесть в соборе: «До-он!» — сейчас луплю к ней, в чем ни на есть: в халате, в чуйке ли. Приближаюсь, — ворота отворяются, выезжает купец с купчихой, сидят и крестятся, — на рыжем мерину; ужасенный был мерин, домовым, Сидор Семеныч, всё звали. Эвто так-с. Затем ворота затворяются, а на место их отворяется калиточка, выглядывает девка и дает мне знак, чтобы я шел за ней. Вступаю в комнату... а не забудьте, на дороге, перед крыльцом, у входа-то я завсегда снимал сапоги, сбрасывал их долой, приходил в Грушкину комнату в одних чулках, понимаете, — дабы шуму не было. Так иду тихо, скромно, с ноги на ногу. — Грушка сидит на кровати, я помещаюсь подле нее, она хватает меня за руку.

— Знаете ли, — говорит, — я вас очень

обожаю... Я отвечаю:

— Помилуйте, напрасно беспокоиться изволите, не стоит-с...

Она:

— Мерси, Потап Егорыч...

— Ну, а если нас захватят? — говорю.

— Нет, эвтому никогда не бывать...

Таким манером проводим время. Особенности же между нами ровно никаких не было. Путешествовал я к ней не раз и не два. Время, можно сказать, проводил в пустяках; кроме ласк да пересыпки из пустого в порожнее ничего не было.

Осенью, Сидор Семеныч, не помню в какой-то праздник, встретил я ее на углу Подъяческой, шел было к кажуховым лавкам. Увидал ее, остановился. Она чуть не бросилась ко мне на шею. Кричит: «Жисть моя!.. шагай ко мне ноне ночью, сделай такую милость... У нас будут гости, станут гулять до зари до самой. В моей комнате никого не будет».

— Пожалуй, — говорю. — В котором часу?

— В таком-то.

Наступила пора. Являюсь. Комната ее действительно пустая, и даже огня нет. Только слышу, в соседней зале идут пляски, крик. А Груша тотчас обращается ко мне и говорит:

— Потап Егорыч, слышите: давайте играть. Я смотрю.

— Да как же? не взошел бы кто. Чего доброго, в шею накладывают, недорого возьмут.

— Нет, — шепчет. — Вы разденьтесь, скиньте сюртук, становитесь промеж банками.

— Дальше что же-с?

— Да вы, — говорит, — разденьтесь: Амур и Винера будут представляться.

Мудрит мною, и на! Думал, думал, хочу раздеваться и нет. Что станешь делать? Взял разделся. Стал за цветами. Стою. Вдруг, голубчик мой, растворилась дверь, бежит из соседней комнаты ее брат, за ним целая куча девок. Хохот несется: «Ха-ха-ха...» — девки за ним, он от них, балуются между собою. Я ни жив ни мертв. Как вспомнишь, алии страм, Сидор Семеныч, берет, что эвта Грушка со мной делала... Брат увидал ее и говорит:

— Что ж ты, Грушенька, тут одна? А меня не видно за банками.

— Да так, — говорит, — скучно что-то стало. Мне эвти гости тоску наводят. — И так важно притворилась... «Ну, думаю, вздуть умеет». Брат приласкал ее и повел с собою в залу. Теперича на эвтом еще дело не остановилось. Вскорости я опять-таки забрался к своей любезной. Как услышал колокол... то-то грех! чем бы бежать в церковь, а я к Грушке. Избаловался ловко. Вся причина, глуп был... можно сказать — сволочь! А всему виною

Грушка... она, она вовлекла меня в свои сети, да! Прихожу. Сбросил у крыльца сапоги, и к ней... Пошли цалования, милования. Ее девка тут же. Скалит стоит зубы на нас. Вдруг что же? Слышу, скрыл дверь... я живо в угол к лежанке. Девка ко мне и заслонила меня. Я присел. Входит ее мать. К ней:

— Ты что тут? с кем разговариваешь?

— С Анютой, — говорит.

— А ты что здесь стоишь? (Эвто к девке).

— Да так, — говорит, — постоять вздумалось.

А я за ней сижусь; держу ее за хвост.

— Ну-ко посторонись...

Анюта посторонилась... как я шаркну! почал стрекать ¹⁰, Сидор Семеныч, как почал... ай-ай-ай... слетел с лестницы, выбежал на улицу в одних чулках. Продрал две улицы без оглядки, прибежал домой — хватать, ни одного чулка нет... все растерял... разожгли!..

Больше туда я ни ногой. Кончен бал. Говорю себе: «Нет, Потап Егорыч, отгулялся, будет! Дождешься, что тебе на спине горбов наделают». Ну, и не ходил. Бросил Грушку совсем. Теперича, Сидор Семеныч, насчет же моих походов к ним, кроме Грушки и девки, так никто и не узнал. Кто таков был, что за персона, по сие время неизвестно.

¹⁰ *Стрекать* — здесь: удирать.

— Одначе вы, Потап Егорыч, повеселились на своем веку.

— Сидор Семеныч! Где же я повеселился? Ежели бы, к примеру, вы побыли на моем месте, ан не то... ведь сколько одних лихорадок переносил я за эвтими слонюшками...

— А как же вы женились-то?

— Слушайте-с про сватовство. Вещия любопытная. Тут, глядите, какие зачнут строиться гогули. Грушка здесь пойдет уж гадить: такую скверность учинит! Можно сказать, натянет мне нос вот какой, ахтительный. Раз сижу я в своей лавке, всходит ко мне товарищ.

— Здорово!

— Здорово!

— Не хочешь ли, — говорит, — жениться? девка есть.

— Какая?

— Мурашкина купца, Аграфенка. Две тысячи приданого.

— А не врешь, что две тысячи? — Так точно.

Порассудил я: ай посвататься? две тысячи не маковое зерно. По крайности была не была, — повидался. Пойду. Наряжаться я много не стал; надел бекешку, теплый картуз, — рубль с пятакom дал у Гусевых. Ни в чем словно не бывало, иду. Перва-наперво, как можно чиннее, тихеньким прикинулся. Картуз сейчас скидываю, вступаю в

переднюю; в ней никого нет, а стоит на столе умывальник посеребрённый, мыло, полотенце тут. Мыло раскрашенное такое, я даже изумился, подумал: «Аль попробовать, что за товар?» Взял в руки, нюхнул, так ихватило *амбрем* настоящим, издохнуть — не вру!..

— Благородство, должно быть!

— Ка-ак же... то есть человек, Сидор Семеныч, я вам скажу, хоть бы пятьсот душ... да пока до этого дела нисколько. Вижу, выходит ихний молодец (заместо лакея он) и хотел было сымать с меня бекешку; я ему докладываю: «Пожалуйте ручку, будьте завсегда знакомы... лапочку сюда... я об вас думаю и полагаю... А что, хозяин дома?»

— Уехали-с.

Там же в залах шум раздается: «Жених, жених пришел!» Шествую в покои, сам помышляю: жалко, не надел сюртука-то... развернулся бы! ишь старика нет дома. Помнишь, золы-то напустил бы... Купец, прочим, этого не любил. Вот, Сидор Семеныч, навстречь мне, значит, выходит мать с невестой. Невеста Грушка разодета так, — ходи прочь! юбки, с позволения, фу!.. так и трещат. Одно слово, нет барыша, да штука хороша. И не усмехнется на меня, словно первой видит. Поразговорились, сели на диваны, слово за слово... Мать мигом и ответствует:

— Потап Егорыч!

— Чего изволите-с?

— Дочка моя, — говорит, — всякие танцы и умеет рассматривать... на гусях... кадрили разные... на портуфьянах, фруктами голову улащает...

Думаю: «Все это немудрено, может быть; только что тепереча скажет сама невеста?» Мне хотца проникнуть про приданое. Обманывать наш брат мастер. Невеста здесь подходит ко мне, очи свои воздвигает на потолок и говорит:

— Желаю пондравиться... (кабысь между нами ничего не было).

Я:

— Покорно вас благодарим-с. Желательно, чем вы докажете любовь?

Она:

— Здоровы ли вы?

— Помаленьку.

— Слава богу, лучше всего...

Я:

— Эвто, — говорю, — справедливо.

Ну, тут подали чай; попили чайку, попотели маленько. Я, примерно, избрал времечко, говорю девке, — Грушке:

— Что, между тем, Аграфена Власьевна, позвольте понять: какой вокруг вас интерес есть?

— Найдется, — говорит.

— А как то есть?

— Да найдется. Чего сумлеваетесь? А помните, — говорит, — как вы ко мне ходили?..

— Да-с... именно... помнить кажинную малость помню; касательно же интереса любопытно спросить?..

Она:

— За интересом дело не станет. А вы, Потап Егорыч, сообразите, что предмет главная сила: он прежде всего обращает на себя внимание...

— Точно, — говорю, — предмет многое означает.

Тем делом, Сидор Семеныч, приводят меня в спальню. Осмотр идет. Спальня богатейшая: подушек до потолка до самого. Говорят мне:

— Эвто наша почивальня, Потап Егорыч.

Я говорю:

— Для отдохновения-с?

— Для отдохновения.

Иду обратно, гляжу, возносят мне на показ салфетки и скатерти. Как подали на руки — подоби вот писчей бумаге, ах ты боже! Я подивился. Дальше, наступила пора обедать. Обед значительный был: ветчина... заливное там... вина разных сортов... и попойка была порядочная. Я пил мало. Но *бабы*, случились за обедом, качали крепко: под конец стола настегались так, — заду не поднимают.

Вот хожу к ним почесть кажинный день. Про приданое пока молчим... Проходит полгода, проходит страшная ¹¹ ... четверг, — ничего. В пятницу на святой ¹² мы снюхались совсем, порешили. Через никак неделю, что вы думаете? Слышу-послышу, за Аграфенку присватывается офицер. Только узнал об эвтом, тотчас бегу туда, к ним; зло взяло меня.

Вхожу в дом, являюсь в залы, вижу, действительно стоит офицер, усы расправляет, держится за саблю рукой. Аграфенка сидит на стуле разодетая, разукрашенная: тут ли ты!.. юбки оттопырились на полкомнаты. Говорили ребята, что она к подолу-то пришивала обруч; конечно, подлинно проведать об эвтом женихам нельзя. А в замужестве она нет, обручей не носила. Да и не пригоже; теперича ежели она с обручами взняхается на кровать, — ведь эвто что выйдет?..

Ну сидит она, сама чванится, знаете; шею вытянула, губы сжала... ни полслова, — великатная такая. Подле нее стоит ее *бабка*, поправляет на ней ленточки и шепчет ей сплошь: «Не шевелись, мать моя, не шевелись; а то его благородию не

¹¹ *Страшная* (то есть страстная) — последняя неделя перед пасхой.

¹² *На святой* — во время первой недели после пасхи.

понравятся такие дела...» Меня, Сидор Семеныч, рассердило; как? то за того, а то за другого?.. Теперича рассудите по правилу: хорошо она поступила? а? Я вам говорю, одер девка, царство ей небесное... такая продувняга, — поискать на редкость: сейчас в одно тебе ухо влезет, в другое вылезет. А тятенька-то мой был тут в стороне. Нет, чтобы так-то присмотреть за мной: дескать, как сын женится? Просто, Сидор Семеныч, кажинный шаг я должен был сам обдумывать, чтобы впросак не попасть.

Гляжу, мать Грушкина опять зачала расхваливать офицеру свою дочку, как мне прежде, что и танцы и всякие... гримасы ногами выкидывает, и пятое-десятое... Отец тоже себе указывает офицеру на девку, говорит:

— Вот, стало быть, ваше благородие-с, товар лицом: извольте заключить, — говорит, — белизна-с какая... одни ручки — что твоя мука пшеничная; первый сорт... манность!..

И шепчет офицеру, сам ухмыляется... «Как, ежели бог даст, женитесь, ваше благородие-с, таких поросенок препожалует, — любо-дорого смотреть...»

«Ну, думаю, провела... не замай же!..»

А она, Сидор Семеныч, Грушка-то, запрежде как услышала, что офицер свататься хочет на ней, кричит: «Я благородная... Я благородная», —

говорит. Видите? что значит необузданность-то.

— Так как же-с? какая будет крайняя цена?

— Пять тысяч, — говорит. (Куда ляпнул!)

— Нет, таких цен ноне не бывает. Вы походней просите. А не можно ли, ваше благородие, взять две тысячки?

— Нельзя-с, — говорит, — убыток будет.

— А то по рукам?.. Грушка смотрит на них.

Я не стал слушать их разговоров, взял подсел к ней. Завожу речь такого калиберу:

— Что же, Аграфена Власьевна, вы теперича мне изменяете?

Она ни слова. А *бабка* подгвазживает ей на ухо: «Не шевелись...» Постой же, думаю себе, ты у меня зашевелишься. Пересел на другое место. В самую эту минуту, Сидор Семеныч, Аграфенка уронила что-то на пол. Офицер бросился, подхватил и подает ей. Она говорит: «Бонжур¹³ за внимание...»

Я сижу. Никто со мной и разговаривать не хочет: притча какая! Встал, нимало не медля, беру картуз и доношу: «Мое почтение-с».

Отец обернулся.

— А! Потап Егорыч... ну, прощайте!

Как мне было тошно, Сидор Семеныч;

¹³ Неправильное употребление французского слова bonjour — добрый день.

право... много муки зазнал я с этой Грушкой. Пришедши домой, говорю себе: какая она мне будет жена, — верность, ежели и к одному и другому вешается на шею. Пропади ты совсем, Дурища!

Офицер женился на ней, слышите? да и голова же был! вот так искусник: в самую первую же ночь хватились, а его след простыл. Шарили, все углы, трещины высмотрели в доме, нет офицера. А он, говорят, заехал в какой-то трахтир, там богу душу отдал. Болтали, что ему кием голову проломил; однако кто знает? может, и другое что случилось, только Грушка овдовела. Вот тебе и благородная!

Сказываю своим ребятам: «Как, мол, полагаете? что бы мне сделать с Грушкой? Злыдни такие учинила...» Положим, я не женился на ней, а она за меня не вышла, — все же таки помятовать ей надобно. Зол был я на нее. Сначала объявил ее девке: «Скажи своей Грушке: как встретится где, так угощу, язык высунет...» По городу, Сидор Семеныч, уже пошли ходить разные разности, всё про Грушку... Слушайте, что дальше. На вешнего Миколу¹⁴ приходит вдруг ко мне ее отец.

— Егорыч!

— Что?

— Так и так... прости меня... я тебя обидел.

¹⁴ На вешнего Николу — 9 мая по ст. ст.

— Чем, Влас Гаврилыч?

— Да как же: дал тебе тогда честное слово, а сделал пошлость...

— Ну, эвтого не воротишь, — говорю.

— Нет, — говорит, — оно можно воротить.

— Как?

— А вот как: я офицеру-то покойнику дал две тысячи, а тебе, ежели хочешь, дам три.

«Ишь как, думаю, куда полезло!»

— Вот что, — говорю, — Влас Гаврилыч: деньги ничего, их можно, пожалуй... я не прочь. Одна статья меня в сумленье приводит.

— Какая?..

— Боязно мне... то есть касательно Аграфены Власьевны: ведь она, будь меж нами сказано, уж женщина. Следовательно, цена теперича ей не та.

— Вот тебе, провались я на сем месте, — говорит, — девка неповинна. Слышь, офицер после ужина удрал...

— Так ли?

— Лопни мои глаза.

— А ежели нет, тогда что?

— Будь я анафема, коли лгу. Будь друг, избавь девку. По городу такие шкандалы ходят — смерть!..

— Изволь, изволь. Но чтобы, смотри, — говорю, — насчет того...

— Я тебе сказываю, убей меня бог, ежели...

— Ладно.

Сладились. Через месяц, Сидор Семеныч, мы обвенчались. Но дивитесь теперича, как, значит, наш брат купец, как он обдывать-то ловок. Вместо всего, что мне сулили... обманули меня во всех частях... какова скверность...

1858